ВЕНЕДИКТОВ
или
ДОСТОПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ ЖИЗНИ МОЕЙ



РОМАНТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ
НАПИСАННАЯ БОТАНИКОМ Х
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ
ФИТО-ПАТОЛОГОМ У

МОСКВА
V ГОД РЕСПУБЛИКИ



„... и видел даже, как черная карета, увозившая Настасью Федоровну, показавшаяся мне исполинской, скрылась за углом церкви Спаса, что в Копье, направляясь куда-то по Петровке“.

ВЕНЕДИКТОВ

или

ДОСТОПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ ЖИЗНИ МОЕЙ

РОМАНТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ
НАПИСАННАЯ БОТАНИКОМ X
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ
ФИТО-ПАТОЛОГОМ У

МОСКВА
V год РЕСПУБЛИКИ

(Р. В. Ц. Москва). № 818. Напеч. 1000 экз.

1-я Образ. тип. М. С. Н. Х., Пятницкая, 71.



Мечте возрожденной.

ГЛАВА I.

С недавних пор Плутарх сделался излюбленным и единственным чтением моим. Сознаться должен, что подвиги аттических героев немного однообразны, и описания бесчисленных битв не раз утомляли меня. Сколько, однако, неувядаемой прелести находит читатель в страницах, посвященных благородному Титу Фламинину, пылкому Алькибиаду, яростному Пирру, царю эпирскому, и сонму им подобных.

Созерцая жизни великие, невольно думаешь и о своей, давно прожитой и тускло догорающей ныне.

Гуляя по вечерам по склонам берегов москворецких, смотря, как тени от облаков скользят по лугам Луцкого, как поднимается лениво Барви-

хинское стадо, наблюдая яблони, ветви которых гнутся от тяжести плодов, вспоминаешь весенние душистые цветы, дышавшие запахом сладким на этих же ветвях в минувшем мае, и ощущаешь чувственно, как все течет на путях жизни.

Начинаешь думать, что не в сражениях только дело и не в мудрости философов, но и в букашке каждой, живущей под солнцем, и что перед лицом Господа собственная наша жизнь не менее достопамятна, чем битва саламинская или подвиги Юлия.

Размышляя так многие годы в сельском своем уединении, пришел я к мысли описать по примеру херонейского философа жизнь человека обыденного, российского, и, не зная в подробности чьей-либо чужой жизни и не располагая библиотеками, решил я, может-быть, без достаточной скромности, приступить к описанию достопамятностей собственной жизни, полагая, что многие из них не безлюбопытны будут читателям.

Родился я в дни великой Екатерины в первопрестольной столице нашей, в приходе Благовещения, что в Садовниках. Отца своего, гвардии полковника и сподвижника Чернышева в знаменитом его набеге на Берлин, я не помню. Матушка, рано овдовев, проживала со мною в большой бедности, где-то в больших Толмачах, проводя лето в Кускове или у дальних родственников наших Шубендорфов, из которых Иван Карлович заведывал конским заводом в Голицынской подмосковной Влахернской, Кузьминки тож, которую, впрочем, сам старый князь любил называть просто Мельницей.

С годами удалось моей матушке, со старанием великим и не без помощи знакомых и товарищей покойного батюшки, определить меня в московский университетский благородный пансион, о котором поднесь вспоминаю с благоговением. Ах, друзья мои! могу ли я передать вам то чувство, которое питал и питаю

к Антону Антоновичу, отцу нашему и благодетелю. Поклонам и танцам обучал меня Ламираль, а знаменитый Сандунов руководствовал нашим детским театром.

В 1804 году, в новом синем мундире с малиновым воротником, обшлагами и золотыми пуговицами, принял я на торжественном акте из рук куратора шпагу—знак моего студенческого достоинства.

Не буду описывать дней моего первого года студенческого. Детище Шувалова, Меселино и Хераскова воспето гениальным пером Шевыревским, и не мне повторять его. Замечу только, что я уже полгода работал у профессора Баузе над изучением древностей славяно-русских, когда жизнь моя вступила в полосу достопамятных событий, повернувших ее в сторону от прошлого течения.

В мае 1805 года возвращался я из Коломенского с Константином Калайдовичем, рассеянно слушал его вдохновенные речи о Холопьем городке

и значении камня тьмутараканского, а больше следил за пением жаворонков в прозрачном высоком весеннем небе. Вступив в город и расставшись со спутником своим, почувствовал я внезапно гнет над своей душой необычайный. Казалось, потерял я свободу духа и ясность душевную безвозвратно, и чья-то тяжелая рука опустилась на мой мозг, раздробляя костные покровы черепа. Целыми днями пролеживал я на диване, заставляя Феогноста снова и снова согревать мне пунш.

Весь былой интере к древностям славяно-русским погас в душе моей, и за все лето не мог я ни разу посетить книголюба Ферапонтова, к которому ранее того хаживал нередко.

Проходя по московским улицам, посещая театры и кондитерские, я чувствовал в городе чье-то несомненное жуткое и значительное присутствие. Это ощущение то слабело, то усиливалось необычайно, вызывая холодный пот на моем лбу и дрожь в

кистях рук,—мне казалось, что кто-то смотрит на меня и готовится взять меня за руку.

Чувство это, отравлявшее мне жизнь, наростало с каждым днем, пока ночью 16 сентября не разразилось роковым образом, введя меня в круг событий чрезвычайных.

Была пятница. Я засиделся до вечера у приятеля своего Трегубова, который, занавесив плотно окна и двери, показывал мне «Новую Киропедию» и говорил таинственно о заслугах московских мартинистов.

Возвращаясь, чувствовал я гнет нестерпимый, который обострился до тягости, когда проходил я мимо Медоксова театра.

Плошки освещали громаду театрального здания, и оно, казалось, таило в себе разгадку мучившей меня тайны. Через минуту шел я маскарадной ротондой, направляясь к зрительному залу.

ГЛАВА II.

Спектакль уже начался, когда я вошел в полумрак затихшего зрительного зала. Флигеровы лампионы освещали дрожавшие тени дворца Аль-Рашидова. Колосова, послушная рокоту струн, плыла, кружась в амарантовом плаще. Колосова — царица на сцене, и я готов был снова и снова кричать ей свое браво.

Однако, и она, и все сказочное видение калифова дворца рассеялись в душе моей, когда я опустился в отведенное мне кресло второго ряда. В темноте затихшего зала почувствовал я отчетливо и томительно присутствие того *значительного* и *властвующего*, перед чем ниц склонялась душа моя многие месяцы. Вспомнилось мне неожиданно и ясно, как в дет-

стве тетушка Арина показала мне в переплете оконной рамы букашку, запутавшуюся в паутине и стихшую в приближении паука.

«Браво!! Браво!!» Колосова кончила, и хор пиратов описывал владыке правоверных прелести плененных гречанок. Я уселся плотнее в кресло и, установив зрительную трубу на сцену, пытался побороть в себе гнетущее меня чувство.

В тесном кругу оптического стекла, среди проплывающих мимо женских рук и обнаженных плеч, открылось мне лицо миловидное, с напряжением всматривающееся в темноту зрительного зала.

Родинка на шее и коралловое ожерелье на мерно подъемлющейся дыханием груди на всю жизнь отметили в моей памяти это видение.

Томительную покорность и страдание душевное видел я в ее ищущем взоре. Казалось мне ясно, что и она и я покорны одному кругу роковой власти давящей, неумолимой.

На минуту потерял я ее в движении сцены и по своей близорукости не сразу мог найти без зрительной трубы.

Меж тем сцена наполнилась новыми. толпами белых и черных рабынь, и вереницы pas des deux сменились сложными пируэтами кордебалета.

Вдруг голос мучительно терпкий пронизал всю мою душу, и в нем снова узнал я ее, и снова всплыло ее чарующее лицо, белыми локонами окаймленное в оптическом круге зрительной трубы моей.

Голос глубокий и преисполненный тоскою просил, казалось, умолял о пощаде, но не калифа правоверных, не к нему обращался он, а к властителю душ наших, и я отчетливо чувствовал его дьявольскую волю и адское дыхание совсем близко в темноте направо.

Занавес упал. Акт кончился. Ищущий взор мой скользнул по движущимся волнам синих и черных фраков, по колышущимся веерам и сверкаю-

щим лорнетам, шелковым канзу и кружевным брабантским накидкам и остановился. Ошибиться было невозможно. Это был он!

Не нахожу теперь слов описать мое волнение и чувства этой роковой встречи. Он роста скорее высокого, чем низкого, в сером, немного старомодном сюртуке, с седеющими волосами и потухшим взором, все еще устремленным на сцену, сидел направо в нескольких шагах от меня, опершись локтем на поручни кресла, и машинально перебирал свой лорнет.

Кругом него не было языков пламени, не пахло серой, все было в нем обыденно и обычно, но эта дьявольская обыденность была насыщена *значительным и властвующим*.

Медленно, устало отвел он свой взор от сцены и вышел в коридор. Я, как тень, как аугсбургский автомат следовал за ним, не смея приблизиться, не имея сил отойти прочь.

Он не заметил меня. Рассеянно бродил по коридорам, и когда теат-

ральная толпа, покорная звону невидимых колокольчиков, стала снова наполнять зрительный зал, остановился, невидящим взором обвел пустеющее фойэ и начал спускаться по внутренним лестницам театра.

Следуя за ним, шел я по незнакомым мне ранее внутренним переходам, тускло освещенным редкими свечами фонарей. Коридоры темные и сырые, поднимающиеся куда-то внутренние лестницы, стены, впитавшие в себя тени Медокса, казались мне лабиринтом минотавра.

Неожиданно блеснула полоса яркого света. Открылась дверь, и женщина, закутанная в складки тяжелого плаща, вышла к нам вместе с потоками света. Оперлась рассеянно и молча на протянутую им руку и, шурша юбками, быстро прошла мимо меня и скрылась в поворотах лестницы.

Я узнал ее. Я знал теперь даже ее имя: в афише значилось, что первую рабыню поет Настасья Федоровна К.

ГЛАВА III.

Призрачность ночных московских улиц несколько освежила меня. Я вышел из театра и видел даже, как черная карета, увозившая Настасью Федоровну, показавшаяся мне исполинской, скрылась за углом церкви Спаса, что в Копье, направляясь куда-то по Петровке.

Я люблю ночные московские улицы, люблю, друзья мои, бродить по ним в одиночестве и не замечая направления.

Заснувшие домики становятся картонными. Тихий покой садов и двориков не нарушает ни шум моих шагов, ни лай проснувшейся дворовой собаки. Немногие освещенные окна полны для меня тихой жизни, девичьих грез, одиноких ночных мыслей.

Смотря, как церковки думают свою думу, в пустых улицах часто неожиданно всплывают то мрачные колоннады Апраксиновского дворца, то уносящаяся ввысь громада Пашкова дома, то иные каменные тени великих Екатерининских орлов.

Впрочем, в эту ночь моя встревоженная душа была чужда спокойных наблюдений. Неотступные мысли о дьявольских встречах угнетали меня. Я даже не думал. Во мне не было движения мыслей, я просто был, как в воду, погружен в стоячую недвижную думу о незнакомце.

Сильный толчок заставил меня остановиться. В своем рассеянии я столкнулся плечом в сыром тумане с высоким рослым офицером, который пробормотал какое-то проклятие.

В московском тумане он казался мне гигантского роста. Старомодный мундир придавал ему странное сходство с героями Семилетней войны.

«Ах, это вы!» сказал колосс, смерив меня пронизывающим взором, и,

хлопнув наружной дверью, вошел в ярко освещенный дом.

В каком-то столбняке смотрел я, ничего не понимая, на сверкающие в ночной темноте отпотевшие изнутри окна. Наконец понял, что стою против Шаблыкинского постоялого двора, и отошел в сумрак улиц.

Я снова впал в задумчивость, мысли застывали, как мухи, попавшие в черную патоку, и все чувства бесконечно ослабли. Одно только чувствование обострилось и утончилось сверхъестественно, и я сквозь гнилой московский туман ясно ощущал, что где-то по улицам гигантская черная карета возит незнакомца, то приближаясь, то отдаляясь от меня.

Желая оторваться от навязчивого ощущения, я сильно тряхнул своею головой и вдохнул полною грудью ночной воздух.

Налево вырисовывалась черным силуэтом ветла. Впереди терялась во мраке полоса Камер-Коллежского вала. За ним сонно надвинулись напластова-

ния марьино-рощинских домиков. Дымился туман, было далеко за полночь.

Я уже соображал прямую дорогу, желая направиться домой. Думал разбудить Феогноста и велеть ему заварить малину и согреть пунш, как вновь почувствовал, что припадок возобновился, и во мраке улиц вновь ощутил я приближение черной кареты. Хотел бежать. Но мои ноги вросли в землю, и я остался недвижным. Чувствовал, как, поворачивая из улицы в улицу, близился страшный экипаж. Мостовая дрожала с его приближением. Холодный пот увлажнял мой лоб. Силы покидали меня, и я принужден был опереться о ствол ветлы, чтобы не упасть.

Прошло несколько томительных минут, и справа показалась чудовищная карета. В дрожащем голубом свете ущербной луны ехала она по валу, раскачиваясь на своих рессорах. На козлах сидел кучер в высоком цилиндре и с вытаращенными стеклянными глазами.

Карета поравнялась со мною. Дверца ее внезапно открылась, и женщина, одетая в белое, держа что-то в руках, выпала из нее на всем ходу и, запутавшись в платье, упала на землю. Карета немного отъехала, круто повернула и остановилась. Кузов ее неестественно сильно наклонился на бок.

Незнакомец вышел и быстро подошел к женщине. Настенька, это была она, вскочила и с криком: «нет у вас больше надо мною власти!» побежала к пруду... Не имея сил добежать, она подняла предмет, бывший у нее в руках, над головою и, бросив его с размаха в воду, упала. Гнилая ночная вода пруда проглотила брошенное.

Незнакомец приближался. Рыдания Настенькины наполнили мою душу ужасом, и готов я был броситься к ней на помощь, но не смог сделать ни шагу и снова почувствовал себя в безраздельной его власти и, как заговоренный, стоял у ветлы.

«Эй, ты!» услышал я его властный голос, и ноги мои пошли к нему.

Не помню, как мы подняли с земли мою Настеньку, как уложили её в карету, как сел я с ней рядом, как тронулась карета. Помню только, что долго видел я, отъезжая в ночном тумане, сгорбленную фигуру незнакомца, стоящего у берега пруда и упорно ищущего что-то, наклоняясь.

ГЛАВА IV.

Марья Прокофьевна всплеснула руками, когда внес я Настеньку в ея домик на берегу Неглинки, совсем у церкви Настасии Узорешительницы.

Добрая женщина, царство ей небесное, засуетилась. Уложили мы Настеньку на диван, под часы корельской березы. Марья Прокофьевна отослала меня самовар ставить, а сама облегчила Настеньке шнуровку.

Долго не могли привести мы ее в чувство. Настенька, бедная, плакала, несуразные вещи всякие во сне говорила.

Стало светать. Третьи петухи запели, как пришла она, родная голубушка, в себя, улыбнулась нам и заснула спокойно. Сквозь кисейные занавески и ветьи размарина, стоя-

щего по окнам, розовела утренняя заря. Марья Прокофьевна потушила свечу, ставшую ненужной. Ровное спокойное дыхание Настеньки поднимало ее грудь, золотистый локон рассыпался по тонкому полотну подушки. Часы тикали особенно значительно и спокойно в утренней тишине. У Спасовой, что в Копье, церкви ударили к заутрене.

Я с сожалением поднялся со стула и стал разыскивать свою шапку, собираясь уходить. Однако, Марья Прокофьевна меня не отпустила и очень просила вместе с ней выкушать утренний кофий. Добрая женщина встретила меня, как давнишнего знакомого, хотя допрежде того мы никогда не встречались.

Никогда не забуду я этого дня, все мне в нем памятно. И половики на лаковом полу, и клавикодры с раскрытой страницей Моцартовой, и горку с фарфоровой и серебряной посудой... Но больше всего в памяти остался глубокий диван со спинкой

красного дерева, по которой лениво и сонно плыли блики утреннего солнца и силуэтные профили, тонко рисованные тушью по перламутру и висевшие в затейливых рамках над диваном.

Марья Прокофьевна наливала мне из медного пузатого кофейника третью чашку и в пятый раз заставляла рассказывать, как я спасал Настеньку, когда скрипнула дверь и она сама вышла к нам из спальни в розовом капотике и вся зардевшись от слышанных слов моих.

ГЛАВА V.

Уже вечерело, когда я шел по Петровке, направляясь к Арбату и держа в руках синий, небольшого формата конверт, на котором Настенькиной рукой было написано: «Господину Петру Петровичу Венедиктову в собственные руки в номера Мадрид, что на Арбате».

Конверт надушен был терпким запахом фиалок, а в моей душе намечалось странное чувство ревности, на которую не имел я никакого права.

Шел я в рассеянности, и у Петровских Ворот чуть не сшибли меня с ног кареты знатных посетителей, съезжавшихся в Английский клуб. Монументальная белая колоннада клуба, окаймленная золотом осенних листьев,

принимала подъезжавших посетителей. Ленты осенних бульваров, полные яркой радости, подчеркивали синеву неба. Сгустки облаков застыли над Москвой. Золото осени падало на новую московскую Данаю, медленно шедшую передо мною по аллее, кого-то поджидая. На ней было синее канзу, а тонкая рука ее сжимала пучок завянувших астр.

Венедиктов сидел посреди 38 номера на засаленном, просиженном зеленом диване и курил трубку с длинным чубуком. На нем был яркий бухарский халат, открывавший волосатую грудь. В комнате в беспорядке разбросаны были различные вещи. Раскрытые баулы и сундуки говорили о готовящемся отъезде. На столе стояла железная кованная шкатулка.

«А, это ты?» холодно и недовольно встретил меня Венедиктов. В полном трепета молчании протянул я ему письмо. Нехотя взял он его и, взглянув на почерк, вздрогнул. «Как!?»

Встал. Провел руками по овлажненному лбу, посмотрев на свет, вскрыл пакет. Стал читать, волнуясь до чрезвычайности.

Почитая свою миссию законченной, счел я за лучшее незаметно уйти, оставив его посреди комнаты с роковым письмом в руке.

На заплеванной и полутемной лестнице меблированных комнат пахло кислой капустой, и какой-то корявый и веснушчатый мальчишка чистил, приплевывая, гусарские ботфорты. Выйдя на улицу, вздохнул я свободно.

Ах, господа, трудно до чрезвычайности носить кому-либо запечатанные письма от той, которую любишь безмерно.

Ступая по лужам и не зная, куда направить путь свой, снова почувствовал я гнет чужой воли над своею душой. Ощущал тягостно, что приказывает он мне вернуться. Кутался в плащ, твердо решив не поддаваться его власти и продолжать путь свой. Душа моя походила на иву, сгибае-

мую ветром надвинувшейся бури, в ее порывах изгибающей ветви свои.

Душа моя становилась безвольна и растворялась бесследно в чужой, мрачной, как воды Стикса, дьявольской воле.

Бесшумно отворил я дверь тридцать восьмого номера, как провинившийся школьник стал у притолоки. Венедиктов сиял, вся комната преобразилась.

Вещи, приготовленные к отъезду, были заброшены под диван. На столе в бемских бакалах искрилось шампанское, а устрицы и лимбург смешивались с плодами московских оранжерей.

«Как я могу отблагодарить тебя, Булгаков!» сказал Петр Петрович, протягивая мне бокал. «Сам Гавриил не мог бы принести мне вести более радостной, чем ты! Эх! если бы ты мог, что-нибудь понимать, Булгаков. Душа освобожденная, сбросившая цепи, любит меня!»

Недопитое вино искрилось в бутылках. Венедиктов был уже пьян в выс-

шей степени. Он усадил меня за стол и с пьяным дружелюбием и настойчивостью потчевал меня яствами своими.

Искрометная влага Шампани сделала язык его разговорчивым, и он изливал передо мною любовную тоску свою. Все более хмелея, повторял ежеминутно: «Эх, если бы ты что-нибудь понимал, Булгаков!» Наконец, придя в неистовство, ударил кулаком своей большой руки, на которой сверкнул железный перстень, по столу так, что замерцали свечи, и бокал, упав на пол, разбился с трепетным звоном. Воскликнул: «Я—царь! А ты червь передо мною, Булгаков!» «Плачь, говорю тебе!» И я почувствовал, как горесть наполнила душу мою. Черствый клубок подступил к моему горлу и слезы побежали из моих глаз.

«Смейся, рабская душа!» продолжал он, хохоча во все горло, и поток солнечной, мучительной радости смыл мою скорбь. Все, казалось, наполни-

лось звенящей радостью,—и персики, разбросаннные по столу, и осколки разбитого бокала, и канделабры, мерцающих свечей, стоящие на смятой и залитой вином скатерти.

«Беспредельна власть моя, Булгаков, и беспредельна тоска моя; чем больше власти, тем больше тоски». И он со слезами в голосе повествовал, как склоняются перед ним человеческие души, как гнутся они под велением его воли. Как любит он Настеньку, как хотел он ее любви. Не подчинения, а свободной любви. Не по приказу его воли, а по движению душевному. Как боялся он отказаться от власти над нею, страшась навсегда потерять ее. Как отрекся он минувшей ночью от власти над Настенькиной душой и как наградил его Всевышний ее свободною любовью, вестником которой и был синий конверт, мною принесенный.

Ум его темнел и он, размахивая руками, ходил по комнате, как в бреду, рассказывая бессвязно. Тень,

или, вернее, многие тени его шагающей фигуры раскачивались по стенам. В незанавешенные окна вливался холодный свет луны, смешивающийся с, мерцающим желтоватым светом восковых свечей канделабра. Глухо донеслись полночные перезвоны Спасской башни.

«Ничего ты не понимаешь, Булгаков!» резко остановился передо мной мой страшный собеседник. «Знаешь ли ты, что лежит вот в этой железной шкатулке?» сказал он в пароксизме пьяной откровенности. «Твоя душа в ней, Булгаков!»

ГЛАВА VI.

Было около двух часов ночи. Венедиктов налил себе бокал и, выпив, продолжал свой рассказ.

«И вот, понимаешь, когда вошел из темноты я в эту комнату, глаза мои застлались от едкого табачного дыма с примесью какого-то запаха серы. Клубились тяжелые струи дыма, сверкали лампионы, вместо свечей уставленные плошками, извергавшие красные и голубые, как от горения спирта, языки пламени. На огромном, круглом, покрытым черным сукном, столе сверкали перемешанные с картами золотые треугольники. Десятка три джентльменов, изящно одетых в красные и черные рединготы, в черных циллиндрах, все с такими же геморроидальными лицами,

как и у моего спутника, в полном молчании, прерываемом проклятиями, играли в пик-медриль. Рыжий, которого я спас на углу Уитчапеля от разъяренной толпы клириков, пожал ближайшим джентльменам руки и сел за стол, совершенно забыв о моем присутствии.

Предоставленный самому себе, я попытался осмотреться. Комната, показавшаяся мне вначале сводчатой, поскольку можно было рассмотреть сквозь клубы вонючей гари, или была вовсе лишена потолка, или он был прозрачен, так как кругом мерцали мириады звезд, застилаемые струями дыма. В глубине направо высилось колоссальное изваяние, я узнал в нем ритуальное изображение Асмодея в виде козла. Именно так изображен он в книге Брантона. Нет сил передать всю гадость и похотливость неистовства приданной ему позы. С ног до головы изваяние было залито испражнениями, горевшими голубым огнем, а новые и новые толпы посетителей

с проникнсвенным трепетом облегчали свои желудки в жертву богу дьяволов. Смрад, поднимавшийся от этой черной мессы, заслонял стоящего на голове чудовища дряхлого Иерофанта с выпяченным животом, размахивающего двумя факелами. В серном тумане светлыми пятнами маячили круглые, покрытые сукнами столы, где джентльмены придавались карточной игре, или обжорству... казалось, передо мной был шабаш ведьм мужского пола.

«Ха, Шлюсен», дернул меня за руку плюгавый старик и просил, передавая карты, докончить партию за него, пока он отлучится, обещая поделить выигрыш пополам.

Я сел, не отдавая себе отчета, и взял в руку карты; кровь прилила у меня к голове и забилась в висках, когда взглянул я на них.

Порнографическое искусство всего мира бледнело перед изображениями, которые трепетали в моих руках. Взбухшие бедра и груди, готовые

лопнуть, голые животы наливали кровью мои глаза и я с ужасом почувствовал, что изображения эти живут, дышат, двигаются у меня под пальцами. Рыжий толкнул меня под бок. Был мой ход. Банкомет открыл мне пикового валета — отвратительного негра, подергивавшегося в какой-то похотливой судороге, я покрыл его козырной дамой и они, сцепившись, покатились кубарем в сладострастных движениях, а банкомет бросил мне несколько сверкающих трехугольников. Как удары молота стучала кровь в моих висках. Но я боясь выдать себя, продолжал играть. Карта мне шла, и неистовые оргии карточных персонажей, сплетавшихся во славу Приопа...... решались в мою пользу.

Когда плюгавый джентльмен вернулся, передо мною на столе лежала изрядная кучка металла. Он, видимо, был неожиданно обрадован и, сунув горсть трехугольников мне в руки, похлопал по спине. Воскликнул: «Ха,

Шлюсен» и погрузился в игру. Оторвавшись от дьявольских карт, я обвел залу помутившимся взором налитых кровью глаз. Для меня не оставалось более сомнения, что нахожусь я в клубе лондонских дьяволов. Приходилось думать о бегстве. Рыжий джентльмен, встреченный мною в Уйтчапле, вряд ли мог быть для меня полезен. Он был в сильном проигрыше, и волосы его бакенбардов в неистовстве сжимались и разжимались, как спирали пружин... На счастье, увидел я двух косопузых коропузиков в красных редингогах, янтарных лосинах и черных цилиндрах, которые, о чем-то споря, простились с соседями и, очевидно, направились к выходу. Незамеченным последовал я за ними. Они подошли к плотной кирпичной стене и, не замедляя шага, слились с нею. Я бросился к ней, выдвигая правое плечо вперед, ожидая удара холодного камня. И только коснулся ее поверхности, как увидал себя в сутолоке вечерней толпы Пикадилли-стрит.

Венедиктов остановился, вытер платком вспотевший лоб, залпом осушил стакан и продолжал:

«Когда я вернулся в гостиницу и разложил семь мною выигранных трехугольников посредине стола, долго не мог я понять их значения. Это были толстые золотые и, очевидно, платиновые пластины, с вырезанными на них знаками Аик-Бекара и пентаклем, сильно потертые и бывшие, очевидно, в немалом употреблении. Казалось, впитали они в себя адский пламень Асмодеевой черной мессы.

Недоуменно взял я один из них в руки и смотря на него, задумался. Постепенно меня захватили, наростая, новые ощущения. Почувствовал прилив каких-то новых чувств, и взор мой, изощренный, как-то свободно проникал сквозь предметы, уносился беспредельно.

В какой-то синеющей дымке,—впрочем, даже не в дымке и не на стене, я не знаю, как передать способ моего нового чувствования,— увидел я

девушку, разметавшуюся на своей постели. В беспокойном сне сбросила она от себя одеяло и в нагой своей красоте лежала передо мной. Волнение охватило меня. Ее лицо не было мне видно, и страстное желание видеть его наполнило мою душу. Как бы подчиняясь ему, она с каким-то мучением повернулась ко мне. Как прекрасно было это лицо! Как прекрасна была ее обнаженная грудь! Мне захотелось, чтобы она открыла свои глаза, и глаза ее открылись. Девушка проснулась. В ужасе села на кровати. Я захотел, чтобы она встала, и она встала с мучительным напряжением. Рубашка скатилась к ее ногам и мгновенье она стояла передо мной, как Киприда, рождающаяся из пены морской. Затем опомнилась, накинула рубашку и в ужасе опустилась перед киотом икон, где теплилась лампада... Спасов лик строго глянул мне в душу, и видение потускнело.

Я выронил из руки трехугольник и долго-долго смотрел перед собою

в пустоту... Прошел час, может-быть, другой... Дрова догорали в камине. Я понемногу пришел в себя и положил на ладонь другой платиновый трехугольник и чуть не выронил его в ужасе... Стены расступились и увидел я Жанету Леклерк, актрису Паласс-театра, за которой ухаживал я тщетно. Она полулежала на софе, и около софы на коленях стоял офицер шотландской гвардии. Беспорядок одежд, нежность поз не оставляла сомнения в любовности их свидания. Жанета, вся трепеща, в истоме тянула к нему свои обнаженные руки и полуоткрытые губы. Всем напряжением воли я велел ей отпрянуть. Но не было моей власти над ней и она обняла своими обнаженными руками седеющую голову полковника. Бешенство овладело мною, и я велел *ему* встать. Покорный он поднялся с колен, отстранив объятия Жанеты. Я понял, что владею его душой; Жанета, с неведомым для меня в женщине бесстыдством, прильнула к нему

своим телом и я, до краев преисполненный бешенством и чувствуя, что владею каждым мускулом шотландца, схватил его руками ее горло и неистово впился в него, пока судороги не охватили ее тела.

Видение показало мне смерть Жанеты, и я усилием своей воли бросил шотландца головой об угол печки.

Видение пропало, а трехугольник рассыпался в прах, оставив ощущение ожога. Я бросился на диван и забылся тяжелым сном.

Нужно ли рассказывать о беспредельном ужасе моем, когда утром я подошел к дому Жанеты, чтобы рассказать ей об ужасном сновидении, увидел дом окруженный толпой, ее задушенной, а в углу комнаты с разбитым черепом лежащего виденного мною ночью шотландца. Жизнь для меня потухла. Я понял, что выиграл у лондонских дьяволов человеческие души».

ГЛАВА VII.

Речь Венедиктова становилась бессвязной. Он хмелел все больше и больше. Видение прошлого терзало его мозг, он опустился глубоко в свое кресло и, сильно затягиваясь, курил свою трубку с длинным чубуком. Бледный, как смерть, рассказал он, как овладел душою и телом молоденькой леди, только что вышедшей замуж за члена Верховной Палаты лорда Крю и раздавил ее жизнь, как раздавливает полевой цветок тяжелая нога прохожего; как не мог он даже в тумане увидать владетеля души с Пентоклем Альдебарана.

Петр Петрович открыл шкатулку и показал мне четыре оставшихся трехугольника, рассказав, что пятого талисмана Настенькиной души — он

не мог найти в пруду Марьиной рощи, куда его она забросила.

Совсем охмелевший Венедиктов бил кулаком по платиновой пластине неведомой души, приказывая ей явиться перед ним и посылая проклятья. Затем стих и охотно согласился сыграть на мою душу в пикет, в который мне не трудно было его обыграть весьма скоро. Трепетной рукой взял я дьявольский треугольник. Свечи догорели и гасли. При свете коптящей светильни видел я, как Венедиктов опустился своей тяжелой головой на стол.

Когда я бежал по Мертвому переулку мимо церкви Успенья, что на Могильцах, на Спасской башне пробило три.

ГЛАВА VIII.

Сердце мое билось, глаза горели, когда шлепал я по осенним лужам и шел, подавленный кругом невиданных событий.

Ночная Москва поглотила меня. Не помню, где я ходил. Срамная баба кричала мне вслед, задирала свои юбки и звала меня в канаву... два раза окликали меня будочники. Очнулся я, заметив перед собою отблески света. Оглянулся и увидел ярко освещенную станцию дилижансов легкой курской почты.

Это было единственное место, где мог я укрыться от накрапывающего дождя и собраться с мыслями в ожидании рассвета. Вошел и отряхнулся от капель. Дождь полил с удвоенной силой. Большая комната почтовой

станции была тускло освещена двумя фонарями.

Направо у столика с двумя полуштофами сжались в кучу несколько посетителей, за стойкой дремал хозяин,—пожилой уже ярославец, налево за большим столом в полном одиночестве сидел постоялец, увидав которого я невольно вздрогнул.

Это был странный офицер, с которым столкнулся я прошлою ночью. Он сидел и писал. Тускло мигавшая, нагоревшая свеча освещала его старомодный дорожный мундир, высокие ботфорты, и снова напомнил он мне героев Семилетней войны.

В комнате чувствовалось напряжение черезвычайное, посетители, на вид люди бывалые, казалось, стихли, как стихают мелкие пичуги, завидев приближение ястреба. Рюмка не лезла им в горло, и хмуро смотрели они на офицера, пишущего что-то на полулисте бумаги, плохо обрезанном и скрипучим пером. Бросив перо и сложив написанное вчетверо, незнакомэ-

встал и звеня шпорами направился к выходу.

«Приготовь лошадей, Петрухин, через час я уезжаю», сказал он хозяину и вышел под потоки яростного, булькающего в лужах дождя.

«Душегуб проклятый!» процедил сквозь зубы какой-то помятый человек, в котором нетрудно было узнать архивного регистратора. «Не к добру эдакая встреча», поддержал его приятель и взялся за полуштоф.

«Эй, смотритель, это что за цаца?»

«Сейдлиц», отвечал степенный ярославец с какой-то особой боязливой и почтительной осторожностью.

«А кто он такой?»

«А кто его знает! Болтают по-разному. Года два назад стоял он в Новотроицком и выбросил в окно шулера Верлинского. Сказывают, помер!». Фамилия показалась знакомой, и потертый человек, еще больше съежившись, рассказал, что слыхал он, будучи в Питере, о каком-то Сейдлице, не к ночи его помянуть, появившемся на

свет Божий диковинным образом. В те поры, рассказывал он, в Париже орудовал некий Месмер и из людей всяких какой-то палочкой веревки вил; что скажет, то человек ему и сделает, чем велит, тем человек и прикинется. Скажет—быть тебе, ваше превосходительство, волком,— и его превосходительство окорачь ползает и воет. Скажет графине, что она курица,—она и кудахчет.

Так вот, сказывают, велел он одному немецкому гусарскому полковнику, что будто он на седьмом месяце беременности. У того живот-то и вздулся, а Месмер-то этот самый тут же от натуги и помер. Расколдовать гусара никто не мог, а месяца через два он помер, и лейб-медик короля прусского вырезал у него из живота ребеночка, зеленого всего, склизкого, с большою головой...

Рассказ прервался скрипом двери и звяканьем шпор. Сейдлиц вернулся и бросил смотрителю кожаный мешок и письмо, запечатанное пятью сургуч-

ными печатями.—«Утром отправить к коменданту», сказал он резко и снова направился к выходу. Все примолкли. Покров ночного ужаса раскрылся над нами. Все мы заметили отчетливо, что, несмотря на проливной дождь, плащ Сейдлица не был смочен ни одной каплей воды. Вскоре я расплатился и вышел.

ГЛАВА IX.

Утренний сон освежил меня заметно. Сквозь опущенные занавески просачивались солнечные лучи. Круглые солнечные зайчики наполняли комнату спокойным полусветом, играя то на фарфоровом китайце, то на резной рукоятке пистолетов, подаренных отцу Румянцевым-Задунайским и висевших над диваном, служившим мне постелью.

Я чувствовал полное освобождение от гнетущей меня последние месяцы тягости, но почему-то даже не вспомнил о выигранном трехугольнике. Так незначительной казалась мне моя собственная судьба. Душа моя была опустошенной. Ни радости, ни горести я не ощущал. Мне как-то ничего не хотелось. И только одна мысль о Настеньке наполнила мою душу сиянием.

Но что я был для нее? И в то же время, чем я был без нее?

Когда я вошел в синенький домик, там все сияло радостью. Марья Прокофьевна с засученными рукавами клала на подушки сдобный крендель. Розмарин и чайное дерево благоухали запахом радости. Белая кошечка в новом голубом бантике от радости особенно круто выгибала спину. Струны клавикорда, казалось, сами были готовы звенеть Моцартовы песни. Настенька перед зеркалом поправляла свои локоны и складки на кружевной накидке своего шуршащего белого платья. С горестным чувством мучительной ревности выслушал я, что Венедиктова ждут через час,—к двум, что отец Василий от Параскевы Пятницы прибудет сам для обручения и что я такой необыкновенный, такой любезный, такой счастливый на руку человек.

Пробило два. Пришел дядя Николай Поликарпович с супругой в граденаплёвом платье, две - три моло-

денькие девушки с большими бантами на головах, подруги Настенькины театральные. Попробовали кренделек. К трем пришел отец Василий. Радость омрачалась тревогой. Закусили. Поговорили о Бонапарте, еще раз закусили. Отец Василий ушел, сказав, что придет к пяти. Стало томительно и страшно. Я подавлял в себе преступное чувство радости и, наконец, предложил сходить к Венедиктову, узнать, в чем дело. Поймал на себе взгляд Настеньки, полный надежды и благодарности. Чуть не бегом пустился по Петровке.

Когда подошел я к Арбатской площади, мне бросились в глаза встревоженные лица прохожих и какая-то растерянность во всем. Меблированные комнаты «Мадрид» нашел я окруженными большою толпой простого народа, а в стороне знакомую коляску обер-полицмейстера. Половые и полицейские долго меня не пускали, а когда я назвал себя и сказал, что надобен мне Петр Петрович Венедик-

тов, чьи-то досужие руки взяли меня за локти, и я был втолкнут без особой учтивости в 38 номер, войдя в который остолбенел.

В комнате все было перевернуто и носило следы отчаянной борьбы. Посредине, среди обломков кресла и скомканного ковра, лежал Петр Петрович с проломленным черепом, а штабс-капитан Загорельский допрашивал побледневшую дородную содержательницу номеров.

ГЛАВА X.

Уже синенький домик с мезонином показался у меня перед глазами, когда робость овладела мною всецело и до конца. Я не мог сделать ни шагу более. Пусть Настенька проспит эту ночь в неведении! Пусть беспокойство ее не заменится мраком отчаяния!

Вернулся домой. Посмотрел в зеркало. Исхудалое лицо взглянуло на меня из рамки корельской березы. Отяжелевшие впалые глаза отмечались ужасными синяками. Я не мог заставить себя прикоснуться к ужину и, отпив два глотка горячего пунша, велел Феогносту постелить мне на диване постель и потуже набить две трубки Капстаном.

Была глубокая ночь, но не мог я собраться с мыслями даже настолько,

чтобы раздеться и лечь спать. Тупо смотрел, ничего не понимая, на пламя догорающей свечи.

. Стук в окно, которое я забыл занавесить, прервал мои тяжелые размышления.

Труба архангела не смогла бы потрясти меня больше; я бросился к окну и сквозь запотелое стекло, в лунном свете увидел Настеньку— простоволосую, закутанную в ковровую шаль.

«Спасите меня: убийца гонится за мною по пятам!»

Я не расспрашивал более: через минуту, забыв о стыдливости (ах, друзья мои! о чем нельзя было забыть в эту минуту!), я быстро переодевал Настеньку, стоящую передо мной в одной рубашке, в свое мужское платье. А когда мы перелезали через забор в сад попадьи и рука моя судорожно сжимала отцовский пистолет, кто-то тяжело и упорно стучался в дверь моего дома. Через полчаса мы были на знакомом по-

стоялом дворе в Садовниках, а на рассвете друг моего детства и молочный брат Терентий Кокурин мчал нас на своей тройке в город Киржач, без подорожной, без паспортов, к сестре моей матушки Пелагее Минишне.

ГЛАВА XI.

«... Вот и все, Пелагея Минишна. Больше я и сам не знаю», закончил я свой рассказ и посмотрел на старушку. Моя добрая тетушка вздохнула и принялась устраивать нас, не задавая никаких вопросов, только изредка пристально всматриваясь то в Настеньку, то в меня.

Сшили мы Настеньке нехитрое платьице из аглицкой фланели, которое шло ей к лицу чудесно, как, впрочем, были ей к лицу и тетушкины роброны времен Елизаветы Петровны и славных дней Екатерины.

Первые дни сидела она, родная голубушка, в уголке дивана недвижно, как зверушка в клетке, и как-то испуганно глядела на нас. Отчетливо и с радостной грустью помню я дни,

когда тетушка, окончив с хозяйством, присаживалась к нам и, быстро мелькая спицами, вязала чулки, Настенька смотрела в сад, где опадали последние желтые листья, и, задумавшись, гладила белую кошечку, а я, поместившись у ее ног, читал творения Коцебу, описания путешествия господина Карамзина и трогательные стихи великого Державина.

Ах, друзья мои, как давно это было!

Через неделю отправился я в Москву, нашел Настенькин домик сгоревшим, а Марью Прокофьевну исчезнувшей неизвестно куда.

Прошло около месяца, пока я хлопотал о заграничном паспорте. В те времена паспорта получались столь же трудно, как и теперь. И только в конце октября переехали мы прусскую границу. Перед нами промелькнул Берлин, еще хранивший жизнь Великого Фридриха, Кельн с его башнями и серыми волнами Рейна, Париж, где золото, женщины, вино и гром военной славы уже закрыли

собою заветы неподкупного Максимильяна.

Настенька оставалась безучастной ко всему проплывающему мимо. А я начал впадать в задумчивость тяжелую. Шитый бисером кошелек, в котором моя мать, умирая, передала мне наследие отца, бережно сохраненное ею, становился все более и более легким. Будущее тревожило меня. Мы с Настенькой привязались друг к другу до чрезвычайности. Но положение наше было ложно. Она и думать не хотела о замужестве. Тщательно запирала дверь своей комнаты, уходя спать. Я пытался расспрашивать об ее жизни. Она рассказывала неохотно, больше о своем детстве, о театральной школе. Казалось роковая тайна тяготела над ней, и было нужно еще раз показаться на нашем пути маске трагедии, чтобы новой кровью закрепить наше счастие.

29 апреля 1806 года прогуливались мы в окрестности Фонтенебло, в лесах, где многие столетия охоти-

лись французские короли и где Франциск замышлял фрески своего замка. Буковые стволы, увитые плющем, и колючие кусты застилали нашу дорогу. Я думал с тревогой, что сбились мы с пути, как вдруг услышал лязг скрестившихся шпаг. Подняв голову, увидел, что Настенька, смертельно бледная, смотрит сквозь заросли на полянку. Смотря в направлении ее взгляда, увидел я на зеленой траве группу мужчин в пестрых кавалерийских мундирах, внимательно смотрящих на двух с ожесточением фехтующих. В ужасе узнал я в одном из дуэлянтов Сейдлица. В этот же миг он увидел Настеньку и отступил на шаг. Как удар молнии сверкнула шпага его противника и пронзила его грудь. Он вскрикнул и упал лицом в траву. Секунданты к нему подбежали «C'est fini!» воскликнул пожилой офицер, беря руку безжизненного Сейдлица.

«Уведите меня отсюда», услышал я Настенькин шопот.

Вечером рассказала она, прерывая свою повесть рыданиями, что пьяный Венедиктов в роковую для себя ночь дождался прихода не подчинявшейся ему дьявольской души, проиграл Настеньку Се́йдлицу и погиб, желая силою отнять свою расписку у пруссака.

«Теперь я свободна», закончила она свой рассказ, протягивая мне обе руки. В эту ночь она оставила дверь своей спальни не запертой.

ГЛАВА XII.

Не знаю, что и о чем писать дальше... История достопамятных событий, потрясших мою жизнь, давно уже окончена. Не я даже в ней главное лицо. Господу было угодно сделать меня свидетелем гибели человека, перешедшего черту человеческую, и передать в мои руки его драгоценное наследство.

Венчались мы с Настенькой в тот же год, возвратившись в Москву, у Спаса, что в Копье. Жизнь наша протекала безоблачно, и даже при французе домик наш, построенный на Грузинах, был пощажен и огнем и грабителями.

Настенька бросила сцену и предалась хозяйству. Брак наш не был счастлив детьми, и в тяжком одиночестве посещаю я могилу Настенькину в Донском монастыре.

Вот и вся повесть жизни моей. Упомяну только в заключение, что лет через пять после француза, перебирая сундуки в поисках парадной одежды для посещения торжества открытия памятника гражданину Минину и князю Пожарскому, на которое получили мы с Настенькой билеты, нашли мы старый мой студенческий мундир, из кармана которого выпал золотой трехугольник моей души. Долго мы не знали, что с ним делать и смотрели на него со странностью, пока я не проиграл его Настеньке в карточную игру Акульку. Настенька взяла трехугольник с трепетом, привязала себе на крест, и—странное дело!—с той поры не знал я больше ни скорби, ни горести. Не ведаю их и сейчас, бродя, опираясь на палку, по склонам москворецким и зная, что душу мою Настенька бережет в своем гробике на Донском манастыре.



А. В. Чаянов

Венедиктов или достопамятные события
жизни моей: Репринтное издание.

Издательство «Прометей».

Издание осуществлено при участии
Второго творческо-производственного
объединения СА СССР

Заказ № 2420. Тираж 50000 экз. Цена 1 руб. 70 коп.

Типография ВНИИТЭМР, г. Щербинка